

## 1. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ДИСКУРС

УДК 821.161.1-31

### ДОСТОЕВСКИЙ В КРИПТОГРАММАХ А. МАКАРЕНКО (ОБ ОДНОМ ЭПИЗОДЕ В ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»)

*Борисова Л. М.*

*Институт филологии  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,  
Симферополь, Российская Федерация  
E-mail: borlm-sf@mail.ru*

В работе рассматривается значение идей Достоевского о ценности безвинного страдания и всеобщей ответственности («всякий перед всеми за всех виноват») в наследии А. Макаренко. Указывается на реминисценции из Достоевского в его выступлениях, публицистических и эпистолярных текстах. Вместе с анализом мемуарных источников это позволяет автору статьи говорить о том, что формирование писателя-педагога проходило под значительным влиянием классика, отголоски идей которого явственно угадываются в базовых нравственных ценностях, а целый ряд мотивов и типов («русские мальчики») фигурируют в творческих планах Макаренко-писателя. Особое внимание привлекается к истории безвинно оклеветанного подростка в повести «Флаги на башнях», скрытый смысл которой проясняется в сравнении с речью Алеши Карамазова у камня. Все это свидетельствует о несомненной актуальности религиозно-философской программы Достоевского для советских писателей. Реминисценции из Достоевского в значительной мере определяют социально-нравственный подтекст прозы Макаренко, идущий в разрез с установками соцреализма, и позволяют расширить представление о сфере тайнописи в советской литературе 1930-х годов.

**Ключевые слова:** Макаренко, Достоевский, «Флаги на башнях», советская литература, соцреализм, реминисценции, тайнопись.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

За последние десятилетия в литературоведении утвердился более адекватный взгляд на советскую литературу в сравнении с тем, каким было ознаменовано начало ее переоценки в 1990-е годы. Помимо идеологической функции, которая определяет внешний план художественного высказывания, исследователи обнаруживают у Л. Леонова, Вс. Иванова, А. Фадеева и других авторов, долгие годы считавшихся образцовыми соцреалистами, духовный, философский и социальный подтексты, свидетельствующие о продолжении классической традиции даже в не самый благоприятный для этого период 1920–30-х годов. Наследие Макаренко, однако, осталось не затронутым этой тенденцией, хотя его не обошли вниманием историки советской цивилизации. В современной биографии писателя нашлось место и эсеро-меньшевистским симпатиям его молодости, и брату-белоэмигранту, а среди гонителей Макаренко-педагога вместо анонимных бюрократов из Наркомпроса фигурируют Крупская и Луначарский. Было, наконец, замечено, что на фотографиях 1935–36 гг. Макаренко «в военной форме и со знаками различия звания сержанта

НКВД» [12, с. 120]. Как убедительно показал Г. Хиллиг, Макаренко был человеком, которому непросто давался конформизм. В то же время некоторые исследователи лишены сомнений на этот счет, видят в Макаренко Лысенко от педагогики, а его прозу рассматривают как производное этой «селекционной» деятельности. Как правило, такие выводы делаются либо априорно, либо с опорой на фальсифицированные в советское время источники. «Мой мир – мир организованного созидания человека. Мир точной Сталинской логики», – цитирует Е. Добренко письмо Макаренко 1927 года [2, с. 184] в оригинале которого последней фразы нет [7, с. 110].

Если учесть, что в советский период в литературе первоочередное значение придавалось воспитательной функции, Макаренко как создатель советского романа воспитания может считаться образцом соцреалиста. Тем важнее рассмотреть его тексты с учетом содержащихся в них реминисценций, противоречащих общему идеологическому контексту. Обратимся с этой целью к повести «Флаги на башнях».

### **ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА**

Соцреализм Макаренко здесь, на первый взгляд, представляет собой самый распространенный вариант 1930-х годов, с обязательными разоблачениями вредителей к Октябрьской годовщине, проповедью бдительности, с чекистской риторикой о «ниточках» и «клубочках», которые распутываются в известных учреждениях. Однако о враге в повести всерьез говорится в связи с надвигающейся войной, а мотив вредительства поначалу звучит не без иронии. Встретив на территории коммуны незнакомого человека (позже выяснится, профессора советского права), высколенные «пацаны» не проболтаются ему о том, сколько масленок в день делают: «Это бухгалтерия знает». Начальник производства Блюм как истинный прагматик не верит во вредителей: «Что им здесь нужно, в колонии?», враги – это плохой материал, плохие станки, амортизация. У самого же автора в суждениях о враге народа нет ясности. Сначала от лица председателя облисполкома Крейцера он провозгласит, что воспитанник Рыжиков – враг, а потом на встрече с ленинградскими читателями от своего имени объяснит: Рыжиков – «не сознательный вредитель, но по натуре пакостник» [6, т. 7, с. 194].

Во «Флагах на башнях» история вредительства вначале строится по самой банальной детективной схеме: подозрение падает на невинного. И жертва, и коллектив поначалу ведут себя вполне типично. «Левитин дрожал на середине <...> убивался <...> пронес свое громкое горе по коридору и мимо дневального, и по дорожкам цветников.

– Здорово кричит, – сказал на собрании Данило Горовой, – а только напрасно старается» [6, т. 6, с. 259].

Но то, что происходит в колонии вслед за этим, не укладывается в схему. Захаров, прекратив всякие расспросы, отправляет расстроенного мальчишку к врачу. А коммунары на общем собрании вместо того, чтобы определить меру наказания для Левитина, выясняют, как он, давно живущий в колонии и никогда не кравший, мог стать вором – иначе говоря, задумываются, откуда берутся враги народа, почему ими становятся честные люди, и, конечно, ничего не понимают. Ну, а ночью, когда вся

колония заснет, Захаров-Макаренко вызовет к себе Левитина. «Слушай, Всеволод! Ключей ты не брал и вообще никогда ничего и нигде не украл. Это я хорошо знаю. Я тебя очень уважаю, очень уважаю, и у меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты был сильным человеком. Я тебя прошу: не падай духом. Тебя обвинили, это очень печально, но... вот увидишь, это потом откроется, а сейчас, что ж... потерпим. Это даже к лучшему, понимаешь?» [6, т. 6, с. 261]. Человек в форме сотрудника НКВД на всю страну заявлял «врагу народа»: «Я тебя очень уважаю. Я тебе верю».

Ни в очерке «ФД-1» (1932), ни в пьесе «Мажор» (1934), посвященных тем же событиям из жизни коммуны им. Дзержинского, этого эпизода нет. Он появился в период большого террора. Писатель не адаптировал взрослый сюжет для юношеского возраста. В педагогической практике ему не раз приходилось иметь дело с отпрысками «врагов» – чаще всего с детьми раскулаченных. Кроме того, в 1935 году было принято Постановление ЦИК И СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», позволявшее привлекать к уголовной ответственности детей, начиная с двенадцати лет. Публично Макаренко отозвался о Постановлении благодушно: дети попадут не куда-нибудь, а «в наши совершенно открытые колонии, где запрещено иметь стены, заборы, решетки, сторожей», где методом воспитания является не наказание, а воздействие коллектива, «воодушевленного общей работой», «идущего вперед в общеобразовательном, политическом и культурно-просветительном деле» [6, т. 4, с. 30–31]. Но ему лучше других было известно настоящее положение дел в колониях. Наконец, перед глазами Макаренко, когда он приступал к работе над «Флагами», был пример одного из первых горьковцев – С. Калабалина. В конце 1937 года тот был арестован и некоторое время провел в заключении. Писатель прекрасно понимал, что сегодня – Калабалин, а завтра – любой другой из его воспитанников может оказаться врагом народа. По многим причинам, не исключая и той, что это *его* ученик.

Призывая юного Левитина пострадать («это даже к лучшему»), Захаров почти цитирует Достоевского, разговор Алеши Карамазова с мальчиками о решении Мити пойти в каторгу:

«– О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, – с энтузиазмом проговорил Коля.

– Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом! – сказал Алеша.

– Конечно... я желал бы умереть за все человечество, а что до позора, то все равно: да погибнут наши имена. Вашего брата я уважаю!» [3, т. 15, с. 190].

Залитое слезами лицо мальчишки-колониста, независимо от того, хотел того автор или нет, заставляет вспомнить о цене гармонии.

Мотивы Достоевского всплывают у Макаренко не случайно. В 1922 году при поступлении в Центральный институт организаторов народного просвещения им. Е. А. Литкенса он называл его среди своих любимых писателей. Достоевским предопределены и философские пристрастия педагога, как они обозначены в «Заявлении»: Ницше, Шопенгауэр, Соловьев, Штирнер. Интерес к Достоевскому у Макаренко с годами не только не угас, но, наоборот, принял более целенаправленный характер. Закончив «Флаги на башнях», он перечитывал Достоевского и писал жене

в письме от 5 ноября 1938 года: «Вот писатель, которого до сих пор не разобрали по-настоящему и которого нужно разобрать во что бы то ни стало. Когда мы с тобой сделаемся старичками, а это будет еще очень не скоро, мы напишем работу о Достоевском, хорошо?» [8, т. 2, с. 238]. И 18 ноября о том же: «Увлекаюсь Достоевским» [8, т. 2, с. 258]. Пристрастия к этому автору не отменяет даже негативный отзыв о нем в письме от 20 ноября: «У Достоевского все-таки страшно много муры, совершенно детской и дешевой» [8, т. 2, с. 261].

На протяжении первых полутора десятилетий советской власти имя Достоевского отсутствовало в наркомпросовских программах. Оно появится в первом обязательном школьном учебнике 1935 года, чтобы исчезнуть уже во втором 1938–1940 годов. «Достоевский, – пишет исследовавший эту тему Е. Р. Пономарев, – оказался главным врагом советской власти в истории русской литературы XIX века, наиболее неудобным для перетолкований и приспособления» [10]. Вместе со всеми врагами народа Достоевский будет реабилитирован и возвращен в школу в 1956 году, но, по словам Е. Р. Пономарева, это возвращение было «предельно осторожным».

Хороший большевистский тон требовал полемики с автором «Бесов». Как публицист Макаренко писал о «гниении» личности у Достоевского, в обязательной по тем временам критике интеллигенции вспоминал «вымирающее племя» Карамазовых и «идиотов», в качестве примера сентиментальной интеллигентщины неизменно приводил «Мальчика у Христа на елке». Достоевскому и другим «великанам человечества» он противопоставлял Сталина, чья Конституция якобы решила проблему личности и общества, о которую все они «расшибали себе лбы» [6, т. 7, с. 13].

Однако в личной переписке автор «Педагогической поэмы» говорил совсем другое: «...моя или Ваша человеческая ценность есть нечто страшно великое и абсолютно независимое от каких бы то ни было физиономий, от всякой толпы, от всякого пота миллионов...» [8, т. 1, с. 45]. Свое чувство к Г. С. Салько он не раз называл любовью в духе князя Мышкина. С этим героем писателя-педагога связывала и такая деталь, как талант каллиграфа. Макаренко шутил, что его письма – это «скоропись семнадцатого века», но начертание некоторых букв у него действительно походит на известные образцы.

С Достоевским ассоциируется одно из важнейших для Макаренко понятий – «живая жизнь», к которому он прибегает и в письмах, и в публицистике, и в художественной прозе (в том числе и во «Флагах на башнях»: «дети – это живые жизни»). Более того, «живая жизнь» – его воспитательный принцип. Расхожий большевистский тезис «изменим обстоятельства – изменится человек», педагог-писатель преобразует в требование постоянно изменять обстоятельства детской жизни, из чего закономерно следует вывод: «Нет никакой системы колонии Горького, нет вообще никакой педагогической системы. Долой педагогику. Есть только живая жизнь» [8, т. 1, с. 63].

Вместе с тем Макаренко – представитель ненавистного Достоевскому «муравейника». И не просто представитель, а волей-неволей один из его создателей. В качестве теоретика он не видел для ребенка лучшей защиты от «случайного семейства» и неквалифицированного воспитания, чем детский дом. А в повседневной

практике опирался на те же принципы, что и педагоги в Санкт-Петербургской земледельческой колонии для малолетних преступников, о которых с симпатией писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год. Они тоже делали упор на труд, товарищеский «самосуд», искоренение прежних, тяжелых впечатлений бытия, замену их новыми. Как ни сдержан Достоевский в оценке деятельности колонии, боясь преувеличить ее достижения, он не может удержаться от похвалы тем, чьими усилиями она существует: если эти люди «решились соединить задачи колонии с своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет "налажено", несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились» [3, т. 22, с. 25].

Единственный серьезный пункт, в котором Макаренко расходится с Достоевским, – личность. «Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в "семье", и их может укутить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина» [3, т. 22, с. 20–21], – писал о детских «самосудах» Достоевский. Его подход к воспитанию был сугубо личностным. В трудах советского педагога ценность личности измеряется ее «уживчивостью» в коллективе [5]. Но в конкретных случаях Макаренко не держался за теорию и, определяя пасынка на учебу в колонию, писал: «Если Левка здесь головой выше всех, то и в своей школе, я уверен, он в таком же положении. Наконец, хотя бы и так, пусть его голова только в коммуне подымется на такую головокружительную высоту, почему это дурно» [8, т. 1, с. 136–137].

И еще по поводу личности. Из всех обитателей колонии самым неисправимым индивидуалистом оказался создатель фаланстера. Ни один беспризорник так не рвался отсюда на волю, как он. При этом Макаренко не испытывал ничего похожего на чувство, от которого страдал герой «Записок из Мертвого дома»: за десять лет каторги я ни минуты не буду один. О своей «педагогической каторге» автор «Поэмы» писал с юмором: «Представьте себе, что у меня нет ни одной свободной минутки, нет ни одного свободного шага <...> Когда я приезжаю в коммуну, меня окружает целая толпа всяких людей и ходят за мной по пятам, а когда я усаживаюсь за стол, они садятся вокруг меня и смотрят, что я делаю. Они глубоко убеждены, что у меня не может быть от них ничего тайного, что я не имею права заняться чем-нибудь таким, что к ним не имело бы отношения» [8, т. 1, с. 82]. Он бежал не от «русских мальчиков», а именно от «муравейника» – сначала от «соцвосовских дам», потом из аппарата НКВД. Противоположность «коммунистическому словесному поведению» в текстах, предназначенных для печати, – высказывания о «муравейнике» в записных книжках Макаренко. Известна и его реакция на решение жены восстановиться в партии: «если ты вернешься в этот колхоз, я повешусь» [12, с. 123].

В первоначальном плане «Педагогической поэмы» был заявлен характер, близкий бунтарям Достоевского, соединивший в себе цинизм, презрение к обществу и доходящее до аскетизма чувство долга. Этому герою писатель отдал много личного. В. С. Макаренко вспоминал молодость брата: «...к 1907 г. его моральное кредо было следующее. Бога нет <...> Жизнь бессмысленна, абсурдна и до ужаса жестока. Можно любить отдельных лиц, но человечество в целом – только толпа, стадо и заслуживает презрения. Никакая любовь к "ближнему" не оправдывается и абсолютно бесполезна. Родить детей – преступно...» [7, с. 111–112].

В письме Г. С. Салько от 12–13 октября 1928 года Макаренко едва ли не с «подпольными» интонациями рассказывал о временах своего «цинического аскетизма», вызванного презрением к заурядности, и прежде всего женской. «Мне доставляло особенное наслаждение унизить ее и причинить ей самое изысканное страдание, доказать ей, что она не имеет права быть любимой. Именно для этого мне приходилось поддерживать себя на отчаянной нравственной высоте <...> И я специально взбирался на эту высоту, специально обставлял свою жизнь аскетизмом и проклятым трудом, молчаливым и скромным, самым нравственным трудом, чтобы иметь право не замечать человеческого, слишком человеческого страдания <...> И вы себе представить не можете, какая сильная концентрация нравственной энергии собралась в моих руках и как неожиданно убийственно можно было направить ее на среднего человека» [8, т. 1, с. 146].

В задуманном романе писатель намеревался показать нечто, вроде превращения Ивана Карамазова в Алешу при участии все тех же «русских мальчиков». Особую роль в преображении героя должен был сыграть сын любимой женщины, вряд ли случайно названный именем младшего Карамазова. «Дружба с ним, уроки философии, которые доставляют ему наблюдения над Алешей и опыт руководства им, доказывают ему, что в человеческой природе возможны большие новости и возможности» [6, т. 3, с. 491].

В последние годы жизни Макаренко вернулся к этому замыслу. И, хотя в нескольких главах романа «Пути поколения», которые он успел написать, мотив смирения сверхчеловека даже не намечен, Достоевский здесь присутствует. Когда один из героев начинает рассуждать о том, что в советской жизни много благих намерений, но нет «души к человеку», другой привычно перебивает его: «Вы – К-Карамазовы! Братья Карамазовы. Все позволено или не все позволено. Страдание и сладострастие. Бог, черт, человек, а о больницах, о дорогах, о светлых комнатах, о какой иной организации, культуре ни одного слова. Карамазовы – русский стиль» [11, с. 21]. На первый взгляд, «карамазовщина» в этом случае – синоним интеллигентского пустословия. По существу же Достоевским маркированы «несвоевременные мысли» автора.

Макаренко выбрал не самый безопасный шифр. Мало того, что Достоевский был не в чести у большевиков, этот классик однажды уже подвел его. Выступая 5 сентября 1936 года перед выпускниками коммуны имени Дзержинского, помощник начальника отдела трудколоний украинского НКВД позволил себе противопоставить Сталина Троцкому: «...если товарищ Сталин сделает хоть тысячу ошибок, а один, имя которого не хочу называть, поведет нас по правильной дороге, то все же надо идти за товарищем Сталиным» [12, с. 112]. За это он едва не поплатился арестом. Но человек, написавший на оратора донос, и представить себе не мог, на какую недостижимую высоту возносил тот отца народов в этой речи. Слова Макаренко – не что иное, как перефразированный Достоевский: «...если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [3, т. 28, с. 176]. Пускаться в объяснения по этому поводу означало только больше привлекать внимание к проблеме. Макаренко и не объяснялся.

Скрытая цитата из Достоевского во «Флагах на башнях» не позволяет упрощенно судить о конформизме писателя. Не высказанная прямо, между строк в главе «Здорово кричит» угадывается мысль о советской каторге и личной ответственности каждого за происходящее вокруг. Такой ответ на извечный вопрос характерен для русской литературы. «Казалось бы, Достоевский и Толстой говорят противоположное: "Все за всех виноваты" – и "Виноватых нет". Но различие лишь внешнее». Свое «виноваты все мы» говорит и Чехов в письме А. С. Суворину о сахалинской каторге, – пишет В. Б. Катаев. При этом Достоевский предлагает каждому считать себя виноватым за все зло в мире, Толстой проповедует взаимное прощение, непротivление злу силой, а Чехов видит выход в работе [4].

Макаренко разделял чеховскую «рабочую мораль» и категорически отрицал толстовское непротivление. Обращение же к Достоевскому в ситуации, «когда уже некуда идти», – знак того, что он рассматривал происходящее вокруг не только с позиции «текущего момента». У Достоевского готовность Мити и Миколки безвинно понести наказание порождается религиозным мотивом, а без него теряет смысл. Эпизод с Левитиным нельзя понять иначе, как робкую попытку писателя-педагога обратить у своих учеников и читателей «очи вглубь души». Спрос на разоблачения позволяет сегодня весьма эффектно подать этот факт: педагог-диктатор с помощью Достоевского вербует добровольцев в ГУЛАГ. Но при желании можно и Достоевского прочесть так, что он будет выглядеть не лучше Макаренко – мистик-изувер, чего стоит одно пожелание Вс. С. Соловьеву: «Ах, если бы вас на каторгу!».

В «Братьях Карамазовых» о всеобщей вине говорят Маркел, Зосима, «таинственный посетитель» и наконец Митя: «Можно возродить и воскресить в <...> каторжном человеке замершее сердце <...> А их ведь много, их сотни, и все мы за всех виноваты! <...> За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» Мысль о Боге дает ему силу не бояться страдания. «Как я буду там под землей без Бога? <...> Каторжному без Бога невозможно, невозможнее даже, чем некаторжному!» [3, т. 15, с. 31].

Макаренко многие годы имел дело с «замершими сердцами». В конспиративном разговоре он делился с Левитиным мудростью, видимо, поддерживавшей его самого, когда каторга стала не уделом несчастных, а реальной перспективой каждого. Для человека культуры, который откладывает мысли о вечном на старость и для которого церковный путь слишком узок, Достоевский в этих условиях становился своеобразным символом веры.

Урок тайной свободы, полученный героями повести, не прошел для них даром. Не успел от Захарова уйти Левитин, в его кабинет ворвался Руслан Горохов. Взлохмаченный, в ночной рубашке, он долго не мог найти нужных слов и только размахивал кулаком, а потом выпалил: «Это... липа!». То, что происходит дальше, нельзя назвать иначе, как триумфом права, торжеством справедливости – смеялся Захаров: «Руку, товарищ!», громко хохотал оказавшийся рядом дежурный Володька Бегунок, «Руслан схватил захаровскую руку шершавыми лапищами и широко оскалил зубы». Захаров-Макаренко имел основания гордиться учеником: мальчишка разгадал загадку, оказавшуюся не по силам большинству взрослых, среди которых он рос.

Приведенный пример не единственный случай, свидетельствующий об особой актуальности Достоевского в годы большого террора. Когда в 1937 году А. Афиногенов, автор пьес о вредителях и диверсантах «Малиновое варенье» и «Волчья тропа», оказался в положении врага народа, он тоже примеривался к судьбе Мити Карамазова.

### ВЫВОДЫ

Проделанный анализ свидетельствует о неоднозначности такого явления, как соцреализм 1930-х годов. Реминисценции из Достоевского позволяют Макаренко в повести «Флаги на башнях» выразить свое настоящее отношение к драматическим событиям социальной жизни, не вступая в прямой конфликт с властью. Пример писателя-педагога свидетельствует о возможности криптографии даже в безукоризненных, на первый взгляд, образцах соцреализма и указывает на необходимость дальнейших исследований по теме «Достоевский в годы большого террора».

### Список литературы

1. Борисова Л. М. Самооговор в драматургии А. Афиногенова (О проективно-прогностической функции соцреализма) // Вопросы русской литературы. – Симферополь, 2015. – № 2 (32). – С. 107–122.
2. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. – М. : НЛЮ, 2007. – 592 с.
3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. – Л. : Наука, 1972–1988.
4. Катаев В. Б. «Все за всех виноваты» (к истории мотива в русской литературе) // Достоевский и мировая культура. Альманах № 9. – М.: Классика плюс, 1997. – С. 40–45.
5. Лецинский В. И. Самосуд: позиция Достоевского и Макаренко // Педагогика. 2001. – № 6. – С. 83–87.
6. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. – М. : Педагогика, 1983–1986.
7. Макаренко В. С. Мой брат Антон Семенович // Советская педагогика. – М., 1991. – № 6. – С. 99–112.
8. «Ты научила меня плакать...» : Переписка А. С. Макаренко с женой (1927–1939) : в 2 т. – М. : Витязь, 1995.
9. Отрывки из незавершенного романа «Пути поколения» // Неизвестный Макаренко. Вып. 2. – М. : б.и., 1993. – С. 24–45.
10. Пономарев Е. Р. Ф. М. Достоевский в советской школе // Достоевский и XX век : в 2 т. Т. 1. – М. : ИМЛИ РАН, 2007. – С. 612–624.
11. Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976–2014). – Полтава : Издатель Шевченко Р. В., 2014. – 778 с.
12. Хиллиг Г. А. С. Макаренко и НКВД // Советская педагогика. – М., 1990. – № 9. – С. 18–125.

### References

1. Borisova L. M. *Samoogovor v dramaturgii A. Afinogenova (O proektivno-prognosticheskoi funkcii socrealizma)* [Self-incrimination in A. Afinogenov's dramaturgy (On the projective-prognostic function of Social realism)]. *Voprosy russkoj literatury*. Simferopol', 2015, no. 2 (32), pp. 107–122.
2. Dobrenko E. *Politekonomiya socrealizma* [The Political Economy of Social Realism]. M. : NLO, 2007. 592 p.

3. Dostoevskij F. M. *Polnoe sobranie sochinenij: v 30 t.* [The Complete Works]. L. : Nauka, 1972–1988.
4. Kataev V. B. «*Vse za vsekh vinovaty*» (*k istorii motiva v russkoj literature*) ["Everyone is to blame for everyone" (to the history of the motive in Russian literature)]. *Dostoevskij i mirovaya kul'tura. Al'manah № 9*. M. : Klassika plyus, 1997, pp. 40–45.
5. Leshchinskij V. I. *Samosud : poziciya Dostoevskogo i Makarenko* [Lynching : the position of Dostoevsky and Makarenko]. *Pedagogika*, 2001, no. 6, pp. 83–87.
6. Makarenko A. S. *Pedagogicheskie sochineniya : v 8 t.* [Pedagogical essays]. M. : Pedagogika, 1983–1986.
7. Makarenko V. S. *Moj brat Anton Semenovich* [My brother Anton Semyonovich]. *Sovetskaya pedagogika*, 1991, no. 6, pp. 99–112.
8. «*Ty nauchila menya plakat'...*» : *Perepiska A. S. Makarenko s zhenoj (1927–1939): v 2 t.* ["You taught me to cry...": Correspondence of A. S. Makarenko with his wife (1927-1939)]. M. : Vityaz', 1995.
9. *Otryvki iz nezavershennogo romana «Puti pokoleniya*» [Excerpts from the unfinished novel "The Ways of Generation"]. *Neizvestnyj Makarenko*. M., 1993, vol. 2, pp. 24–45.
10. Ponomarev E. R. *F. M. Dostoevskij v sovetskoj shkole* [F. M. Dostoevsky in the Soviet school]. *Dostoevskij i HKH vek: v 2 t. T. 1*. M.: IMLI RAN, 2007. P. 612–624.
11. Hillig G. *V poiskah istinnogo Makarenko. Russkoyazychnye publikacii (1976–2014)* [In search of the true Makarenko. Russian-language publications (1976-2014)]. Poltava: Izdatel' Shevchenko R. V., 2014. 778 p.
12. Hillig G. A. S. *Makarenko i NKVD* [A. S. Makarenko and the NKVD]. *Sovetskaya pedagogika*, 1990, no. 9, P. 18–125.

#### **DOSTOYEVSKY IN A. MAKARENKO'S CRYPTOGRAMS (ABOUT THE EPISODE IN THE STORY "FLAGS ON THE TOWERS")**

*Borisova L. M.*

The article examines the significance of Dostoyevsky's ideas about the value of innocent suffering and universal responsibility (“every one is really responsible to all men for all men and for everything”) in the legacy of A. Makarenko. It reveals references to Dostoyevsky in his speeches, journalistic and epistolary texts. Together with the analysis of memoir sources, this allows the author of the article to state that the formation of the writer-teacher took place under the significant influence of the classic writer. The echoes of Dostoyevsky’s ideas are clearly discerned in the basic moral values, and a number of motives and types (“Russian boys”), appearing in the creative plans of Makarenko the writer. Particular attention is drawn to the story of an innocently slandered adolescent in the story "Flags on the Towers", the hidden meaning of which becomes clear in comparison with Alyosha Karamazov's speech at the stone. All this testifies to the undoubted relevance of Dostoyevsky's religious and philosophical program for Soviet writers. References to Dostoyevsky largely determine the socio-moral subtext of Makarenko's prose, which is contrary to the principles of Socialist Realism, and make it possible to expand the understanding of the sphere of cryptography in the Soviet literature of the 1930s.

**Keywords:** Makarenko, Dostoyevsky, “Flags on the Towers”, Soviet literature, Socialist Realism, reference, cryptography.